

ВОЛОГДА, КРОНШТАДТ, ПЕТЕРБУРГ.

XXVII.

ВЫСЫЛКА.—Я СТАНОВЛЮСЬ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПРЕСТУПНИКОМ.

Дня через два меня первого потребовали в канцелярию части.

Поставив столик на нары и поднявшись таким образом к окну, мы могли видеть, что делается во дворе. Я как раз смотрел в окно, когда во двор части с грохотом въехала карета, из которой вышли два жандарма. Из этого мы поняли, что означает мой вызов. Высылают. Благодаря „открытому образу мнений“ Ливена мы совсем не были приготовлены к этому: приходилось уезжать без денег, без белья. На мне был чужой, сборный костюм, легкое пальто, а туго накрахмаленный воротничек неприятно подпирал мою шею.

Сборы не заняли много времени. Мы крепко обнялись, и через полчаса жандармы доставили меня на Ярославский вокзал. Я не рассчитывал на такую стремительность, и мне было особенно грустно уезжать, не попрощавшись с сестрой в институте.

Меня ввели в битком набитый вагон третьего класса. В самом углу, у стенки, тоже между двух жандармов, сидел человек небольшого роста, с длинной черной бородой, напоминавший мне сказочного Черномора. Мы познакомились. Господин оказался Бочкаревым, земским деятелем из кружка И. И. Петрункевича. Перед самым отходом поезда на платформе произошел некоторый шум. Оказалось, что несколько петровских студентов, карауливших у Басманной части, попытались войти в наш вагон, но их не пустили. Я видел, как мимо окон пронеслась фигура Эдемского, в его оригинальном охабне, высокой барашковой шапке, с большой дубиной в руках. Вероятно именно эта живописная фигура обратила внимание сыщиков. Поезд вскоре тронулся.

Во время краткой остановки на станции Пушкино к нашему окну подошла молодая красивая брюнетка, с выразительным, даже драматическим лицом. Остановясь

против нашего окна, она уставилась глазами в Бочкарева, точно на икону. Разговаривать через двойные окна было нельзя, и она простояла неподвижно, с трагическим выражением в лице, пока поезд не двинулся. Бочкарев раскланялся с нею и вздохнул.

Среди ночи я вдруг проснулся точно от толчка и долго не мог сообразить окружающих меня обстоятельств. Мне приснилась мать, и острая тоска о ней теперь сжимала мое сердце. В вагоне было накурено и душно. Волны дыма застилали тусклый свет фонаря. Напротив меня и рядом клевали носом четыре жандарма. Я наконец сообразил свое положение, и мысль о матери ясно встала в уме. Все это время я мало думал о ней. Она больна и как-то она встретит известие о моей ссылке, если оно появится в газетах. Нервная усталость этих дней сказалась: я почувствовал, что на глаза просятся слезы... Скорей на место, чтобы написать ей что-нибудь определенное... А пока незачем поддаваться малодушию: другие мысли сменили и вытеснили тоску. Я не раскаивался. Несмотря на исполнившиеся 22 гсда, я испытывал мальчишеское чувство гордости: в Басманной части мне объявили формально, что я высылаюсь „по высочайшему повелению“ в Уст-Сысольск Вологодской губернии... Мне вспомнилось первое „тайное собрание“ в Измайловском полку. Тогда были мобилизованы полицейские силы одной полицейской части. Теперь против меня приведен в движение аппарат самой верховной власти...

Не помню точно, где мы расстались с Бочкаревым. На прощание мы горячо обнялись, точно члены братского ордена, объединенные общим преследованием. Меня жандармы привезли с вокзала в ярославское полицейское управление, окна которого выходили на Волгу. По реке медленно двигались широкие льдины начавшегося ледохода. Все население полицейского управления собралось у окон: следили за тем, как бравый прокурор председатель общества спасения на водах, переправляет почту из Вологды на спасательной лодке. Когда переправа благополучно закончилась, помощник полицеймейстера, старик добродушного вида, принял меня от жандармов, и от него я впервые узнал, что я „государственный преступник“.

— Вы ошибаетесь—сказал я.—Я только студент и высылаюсь за коллективное заявление своему начальству.

— Ну, ну—ответил он с положительной уверенностью.—Это самое и есть... „По высочайшему повеле-

нию“, батюшка... Как же не государственный преступник?..

И опять должен признаться: что-то при этом слегка пощекотало мое самолюбие.

Вскоре пришел полицеймейстер, человек черноволосый, военного вида с повелительными манерами. Он успел сходить к губернатору и принес распоряжение его превосходительства: отправить меня в тюрьму. Я предъявил убедительнейшую просьбу не задерживать меня в пути и послать по возможности сегодня же дальше. Мысль о матери опять захватила меня, и опять при этом глаза что-то щекотало. „Государственный преступник“ вероятно имел довольно жалостный вид, и полицеймейстер отнесся к моей просьбе с видимым участием. Он осмотрел мой парадный костюм, заметил полное отсутствие какого бы то ни было багажа и понял, что задерживать меня действительно не следует.

— Если вы не побоитесь ледохода—сказал он,—то я похлопочу у прокурора, чтобы вас переправили завтра с почтой. А пока что делать? Придется переночевать в тюрьме... Дайте провожатого поприличней,—обратился он к одному из подчиненных.

Явился провожатый городской, но он оказался как раз совершенно „неприличным“. Тогда в губернских городах полицейские еще не успели принять щеголеватого вида, и явившийся городской напоминал одного из подчиненных гоголевского Держиморды: его шинель была вся в отрешьях с разноцветными заплатами, а сабля висела просто на старой веревке.

— Уберите его. Прислать другого, поприличней—сказал брезгливо полицеймейстер.

Пришел другой. У этого заплаты были того же цвета, что и шинель, а сабля висела частью на ремне, и только частью на веревке. Полицеймейстер посмотрел и махнул рукой.

— Ну, не взыщите... Чем богаты, тем и рады... Что делать.

Я поблагодарил его за добрые намерения и пешком через весь город отправился в тюрьму. Нас было четверо: забракованный городской провожал какого-то злополучного субъекта, в короткой арестантской куртке с бубновым тузом на спине. Дорогой я услышал, что этот субъект о чем-то препирается со своим провожатым, и оглянувшись, увидел, что городской, схватив его за широкую мотню арестантских шаровар—старается осадить назад.

— В чем дело?—спросил я.

— Известно, невежество...—пояснил мой городовой.— Видите, он хочет идти рядом с вами. Говорит: мы товарищи.

Воспользовавшись остановкой, субъект выскочил вперед и бойко спросил у меня:

— Вы высылаетесь?

— Высылаюсь.

— На подзор полиции?

— Вероятно.

Он с торжествующим видом повернулся к своему провожатому и сказал:

— Ну, и я тоже на подзор полиции. Как же не товарищи.

Дальше мы уже шли рядом,—я в легком чужом, но все-таки парадном, костюме со стоячим крахмальным воротничком и в круглой шляпе, а он в арестантском бушлате с бубновым тузом на спине. Городовые шли сзади. Проходящая публика оглядывалась с ироническим любопытством.

Ярославская тюрьма была первая, с которой мне пришлось познакомиться. Меня ввели в камеру и оставили ее незапертой. Вскоре ко мне вошел арестант невысокого роста, в очках и с эспаньолкой. Это был мой сосед из „привилегированных“. Оказалось, что меня посадили в дворянский корридор. Отрекомендовавшись, он спросил:

— Вы, вероятно, тоже по делу Иванчин-Писарева и графини Потоцкой?

Фамилию Иванчин-Писарева я тогда слышал в первый раз. Новый знакомый рассказал мне, что в Ярославской губернии раскрыт кружок революционеров, в центре которого стоял Иванчин-Писарев. Многие арестованы, некоторые сидят теперь в этой же тюрьме. Иванчин скрылся. Арестант часто упоминал фамилию графини Потоцкой, намекая на свое знакомство с нею, и предлагая, если мне угодно, передать ей записку. Мне нечего было писать графине Потоцкой, и я отказался к явному разочарованию любезного соседа.

Был, помнится, какой-то праздник, и после арестантского обеда староста, благообразный, не старый арестант, принес мне в камеру кружку чаю и целую грудку калачей и булок. Меня поразил их вид: тут были куски французской булки, куски ситного хлеба, маленький ломтик пирога и пол бублика, воткнутого в ситный.

— Нынче было подаяние, — пояснил староста, — кушайте на здоровье.

Дворянский корридор был почти пуст. Я рано ушел в свою камеру и проспал почти весь день и ночь. Утром в шесть часов меня разбудили. Полицеймейстер исполнил обещание: на берегу Волги меня ждала уже спасательная лодка, переправлявшая почту на Вологду. Вместе с провожатым полицейским и почтальонами мы уселись в лодку на полозьях, стоявшую на берегу. Подвижки льда прекратились, и только на середине тихо плыли, сталкиваясь и шурша, то мелкие льдины, то широкие ледяные поля. По льду лодку тащили на полозьях, потом, раскатившись, она погружалась в воду и плыла среди ледяного „сала“, пока разогнавшись на веслах, не вкатывалась на большую льдину. Эта переправа не была лишена довольно сильных ощущений. Затем мы тихо покатались по узкоколейной вологодской дороге.

XXVIII.

В ВОЛОГДЕ.—ЧЕРТЫ ТОГДАШНЕЙ ССЫЛКИ.

В Вологде губернатором в то время был старик-поляк Хоминский, человек довольно либеральный и очень добродушный. Поэтому, вероятно, меня поместили не в тюрьме, а в дежурной комнате при полицейском управлении. Дело было на страстной неделе, и на мою просьбу отправить меня немедленно далее — полицеймейстер ответил, что меня отправят на третий или четвертый день праздника.

Полицеймейстер оказался человеком тоже благодушным; он предложил мне расположиться в дежурной комнате, „как у себя дома“, и спросил, не желаю ли я отправиться в баню. Я отказался: у меня не было чистого белья. К вечеру он прислал мне смену белья, предложив отдать мое для стирки. Его обращение произвело на меня впечатление самое благоприятное. Но увы, я должен сказать, что в своей ссыльной карьере я ближе встречался таким образом с тремя очень радушными полицеймейстерами, и все они, по странной случайности, попадали под суд.

В первый день Пасхи меня неожиданно посетил губернатор Хоминский. Оказалось, что его сыновья, студенты института путей сообщения в Петербурге, получив сведения от товарищей-петровцев, успели телеграфировать

отцу, и добродушный старик пришел, чтобы ободрить меня и спросить, не нуждаюсь ли я в чем-нибудь. Вскоре после него пришел также делопроизводитель его канцелярии, молодой еще человек огромного роста. Он сидел у меня около часу и рассказывал о громкой истории расхищения северных лесов. Об ней тогда много писали в газетах. Молодой чиновник возмущался стачкой чиновников лесного ведомства с какой-то иностранной компанией. Работает экстренная следственная комиссия, но едва ли ей удастся раскрыть все: замешаны очень сильные лица и огромные иностранные капиталы.

Посещение губернатора и его чиновника, очевидно, произвело сильное впечатление на личный штат полицейского управления, начиная с николаевского кавалера сторожа и дежурных чиновников и кончая самим полицеймейстером. Придя ко мне и похристосовавшись в первый день праздника, он предложил мне прогуляться по городу.

— Вероятно с провожатыми?—спросил я.

— Со мной, если ничего не имеете против.

Я ничего не имел против, и мы пошли.

— Не хотите ли посмотреть наш арестный дом?— сказал он, и, не дожидаясь ответа, поднялся по лестнице в здание под каланчей. Меня несколько удивило то обстоятельство, что здесь уже как будто ждали. Корридоры были чисто выметены и воздух проветрен. Пройдя со мной по корридору и предложив взглянуть в камеры через глазок, он неожиданно сказал ключнику:

— Есть свободная камера?

— Так точно; номер девятый.

— Отопри... Не угодно-ли вам взглянуть внутри?—

И он сделал жест любезного хозяина, пропускающего вперед гостя.

Мне вспомнилась сцена между городничим и Хлестаковым, и я, как Иван Александрович, не прочь был отказаться от любезного приглашения. Но, скрепя сердце, переступил через порог и спустя некоторое время благополучно вышел из камеры. Очевидно, полицеймейстер имел в виду только похвастать чистотой помещения.

Удивление мое еще усилилось, когда, выйдя на крыльцо, я увидел во дворе выстроившуюся в порядке пожарную команду.

— Где-нибудь пожар?—спросил я.

— Нет, это я нарочно: может быть вам интересно взглянуть на наши новые машины?

Он сделал знак, и команда тронулась со двора. Сытые лошади рвались вперед, звенели колокольчики, развевался пожарный флаг, сверкали новенькие насосы, окрашенные ярким суриком, блестели медные каски пожарных, я с полицеймейстером стоял на крыльце, краснея и чувствуя себя действительно в положении Хлестакова: для меня столько людей и лошадей потревожили в такой большой праздник.

Да, это был странный период российской ссылки, вскоре прекратившийся. В ссыльных захолустьях жили еще очевидно смутные воспоминания о тех временах, когда люди попадали в ссылку, чтобы потом, при перемене обстоятельств, сугубо возвыситься. Телеграмма губернаторских сыновей, посещение самого губернатора вызвали, очевидно, в голове благодушного полицеймейстера ту же идею, и на всякий случай он нашел нелишним показать свое хозяйство в образцовом порядке.

Когда мы возвращались с прогулки вдоль лицевого фасада полицейского управления, случилась маленькая неожиданность: одна из дверей внезапно приоткрылась и из нее показалась небольшая фигура мещанского вида. Чья-то рука крепко держала ее за шиворот и затем сильным толчком кинула вниз с невысокой лестницы. Неизвестному грозило довольно неприятное падение, если бы размахивая руками и шатаясь из стороны в сторону, он не ударился головой в живот полицеймейстера. Последний схватил его сверху за шиворот, сердито встряхнул раза два и, установив прочно на ногах, спросил довольно грозно: „Это что такое? Ты пьян?“.

Мещанин действительно был пьян, но все-таки пытался оправдать себя: он пришел в полицейское управление за справкой, а они вот какую справку выдали: по шее да с лестницы...

И внезапно вдохновившись, он воскликнул с настоящим пафосом:

— Ваше высокоблагородие... Что-ж это у нас за порядки? Республика что-ли?..

— Ну, ну, ступай. За справкой придешь в будни и трезвый.—И улыбнувшись с грустной снисходительностью, он повернулся ко мне и сказал:

— Вот не угодно-ли,—какое понятие о республике...

Можно было догадаться, что собственные его понятия о республике—другие. В общем, повторяю, у меня осталось приятное воспоминание о добродушии этого

человека и мне хотелось бы думать, что служебные неприятности, его постигшие через некоторое время, не имели особенно предосудительного характера.

XXIX.

МОЙ ПРОВОЖАТЫЙ.—ОСТАНОВКА В ТОТЬМЕ.—ЗНАМЕНАТЕЛЬНАЯ ВСТРЕЧА.

Вскоре мне пришлось тронуться в дальнейший путь. Весна быстро подвигалась с юга. В Ярославле Волга уже трогалась, но Северная Двина лежала еще подо льдом. Снега были глубоки, но дни стояли теплые, и всюду под снегом журчали весенние ручьи. Ехали мы быстро, но все же под'ехали к Тотьме по совершенно рыхлой дороге, а местами прямо и по грязи.

Судьба послала мне в провожатые человека очень оригинального. Это был городской по фамилии, кажется, Федоров (точно не помню), очень малого роста, плотный, с шарообразной головой и пухлыми щеками, среди которых совершенно утопал маленький нос. Настоящий Квазимодо по безобразию, он оказался человеком благодушным и разговорчивым. Между прочим, он питал почему-то пламенную ненависть к жандармам.

— Терпеть не люблю,—говорил он.—Жандарма есть самый последний человек: ябедники, доносчики, фискалы. Не то, что на товарища—на отца родного донесет.— В этом неодобрении мы с ним сходились, хотя по разным причинам.

В Тотьме на почтовой станции мне сказали, что меня к себе приглашает исправник. Он сообщил мне, что утром получена телеграмма от губернатора предложить студенту Короленко на выбор—следовать далее в Усть-Сысольск, или же под надзор полиции на родину. Подумав немного, я написал, что предпочитаю отбыть ссылку „в г. Кронштадте, где живет моя мать“. На родине, в Житомире, у меня никого уже не было. Кроме того я еще живо помнил, как рвался из своих мест и потому решил написать наудачу: авось попаду в Кронштадт. Исправник принял бумагу и дал тут же полицейскому предписание везти меня обратно в Вологду.

Лошадей на станции не было—недавно прошла почта на Архангельск. Пришлось ожидать. Мы дружелюбно сидели на крылечке почтовой станции, беседуя с моим Квазимодо, как вдруг лицо его нахмурилось.

— Смотрите, смотрите: жандарма идет... Шнырит чего-нибудь, подлец. Непременно об вас пронюхал. Смотрите, будто и не видит нас, а сейчас остановится. Вот увидите...

По другой стороне улицы, представлявшей море жидкой грязи, шел жандарм. В шинели на распашку, с заломленной фуражкой, он имел вид праздного фланера и беспечно глядел по верхам. Но вдруг взор его как будто случайно упал на нас. Он остановился, приятно пораженный.

— Ба, господа проезжающие... У нас такая радость, заезжие люди... Позвольте побеседовать. Откуда будете? Из Москвы?

Он оглянулся направо и налево, но нигде не было перехода. Тогда он решился и пошел вброд по глубокой грязи, с трудом вытаскивая ноги.

— Так изволите ехать из Москвы? Студент? Петровской академии? Скажите... Как это приятно... У меня там землячок, даже, признаться, родственник: Суровцева не изволите знать? Здоров ли? Что-то давно не пишет.

Мой провожатый делал мне какие-то знаки. Суровцев в это время скрывался, и жандарм „разведывал“. Я ответил спокойно:

— Суровцева знаю. Товарищи. Видел его перед самым отъездом. Здоров. Просил кланяться родственникам, если встречу.

— Да не может быть...—изумился жандарм, и глаза его забегали.—Где же он проживает, если вам известно?

— Конечно, известно: проживает в академии, на Выселках, где жил и прежде...

— Обрадовали вы меня... Пойти сейчас жене сказать... Честь имею кланяться.—И он быстро ушел...

— Эх вы-ы—сказал мой провожатый с выражением крайнего порицания—зачем сказали? Суровцева-то ищут. На телеграф теперь побежал, телеграмм даст.

Я засмеялся и сказал, что пошутил: Суровцев скрывается и адрес его неизвестен. Городового охватил бурный восторг, лицо его исказилось невероятными гримасами, и он так судорожно качался из стороны в сторону от хохота, что я думал—он упадет с крыльца.

В ожидании лошадей я получил неожиданное приглашение: в городе жил чиновник лесного ведомства, бывший студент Петербургского Лесного института. Считает меня, как петровца, своим товарищем и просит

притти к нему попить чаю. Я охотно согласился, провожатый не возражал.

Пригласивший меня оказался лесным таксатором с семинарской фамилией Успенский или Предтеченский—теперь не помню. Это оказался человек симпатичный, но чрезвычайно унылый, даже мрачной наружности. Жил он в холодной неуютной обстановке, вместе с сожителем, лесным кондуктором. По случаю праздничного времени оба были в легком подпитии, которое действовало на них противоположно: таксатор был, повидимому, угнетен и уныл сверх меры, кондуктор весел, развязан и говорлив. Тотчас после моего прихода Успенский отвел в сторону кондуктора и стал что-то шептать ему. Тот с самодовольным видом ответил:

— „Ну что ж. Нам наплевать“,—и тотчас же, демонстративно вынув кошелек, отправился „распорядиться“. Смуглое лицо Успенского (я буду так называть его), казалось, потемнело еще больше. Видя, что секрет его разоблачен, он потупился и сказал:

— Добрый малый... И товарищ... Но взяточник, а я, видите ли, старых идей держусь, студенческих. Противлюсь. Поэтому придираются ко мне... Вот сделали начет... Третий месяц получаю только треть жалованья.

И он рассказал мне, что не согласился подписать какую-то сделку, и за это ему мстит непосредственное начальство.

— И дурак, ха-ха-ха,—с неприятной развязностью сказал вошедший на эти слова кондуктор.—Ну, кого ты, скажи, пожалуйста, своею честностью удивить хочешь? В нашем деле, я вам скажу, господин, главное уметь неправильность соблюсти... Тогда, ха-ха-ха, жить можно...

Лицо Успенского передернулось страдальческой гримасой.

— Замолчи. Ты пьян,—сказал он.

— Ты больно трезв... Только я пьян на свои, а ты в долг,—ответил развязный молодой человек.

Через час к квартире таксатора подали почтовую тройку. Мои хозяева, захватив несколько бутылок, уселись со мной в просторные почтовые сани и поехали провожать меня до следующей станции. Дорогой они продолжали пить. При этом Успенский все глубже увязал в меланхолии, а его сожитель становился все веселей и развязнее. Он кидал в проезжих мужиков пустыми бутылками, заливался громким хохотом, горланил

песни,—вообще становился несносен. В одном месте он вдруг остановил ямщика. У дороги лежали штабели свежесрубленного хорошего строевого леса. Несмотря на опьянение, он живо, хотя и пошатываясь, прошел по глубокому снегу, что-то посмотрел и, вынув записную книжку, с веселым видом стал делать в ней какие-то отметки.

— Комлями в разные стороны... Не по правилам,— штраф с подрядчика, или откупайся, голубчик...—говорил он весело, взобравшись опять в сани...

— Постыдился бы человека,—с печальной укоризной произнес Успенский.

На следующей станции мы расстались. Успенский горячо обнял меня и плакал:

— Завидую вам... Избрали благую часть...—говорил он слегка заплетающимся языком...—а я, понимаю вот тут... Видите: торжествующая свинья, а мне товарищ.

— Ну, ты не очень. Чего лаешься? Кто виноват, что сам глуп, не умеешь неправильность соблюсти.

И он тоже полез целоваться со мной. Дальше я поехал один, унося с собой резкое и глубокое впечатление.

Юность склонна к быстрым обобщениям. Назад я оставил светлейшего князя Ливена, высшего представителя ведомства, в котором я собирался служить. В то время, после коварного поступка с нами, он казался мне совершенным негодяем. Потом—рассказы губернаторского чиновника о грандиозных хищениях, охвативших чуть не весь север, с которым бессильно справиться правосудие. И вот наконец эта яркая иллюстрация уныло-страдающей добродетели в лице Успенского и торжествующего порока в лице этого маленького взяточника, все это складывалось для меня в яркое и цельное настроение. Мои еще недавние намерения и мечты матери, связанные с дипломом, разлетелись прахом... И пусть... Нет, я уже не пойду на службу к этому государству с Ливенами вверх, с сетью мелкого неодолимого хищничества вниз. Это—разлагающееся прошлое... А я пойду навстречу неведомому будущему.